



Х. „НЕОДОЛИМОЕ ОЖИДАНИЕ РЕВОЛЮЦИИ...“

В середине января 1850 года Чернышевский был подвергнут «аресту» инспектором университета Фицтумом за то, что явился в университет без шпаги и шинель его была расстегнута

Оставшись в сборной, куда ему приказано было явиться, Чернышевский, чтобы отвлечься, занялся при свете свечи своим дневником, с которым не расставался в последнее время. Ему захотелось взвесить свой теперешний образ мыслей и, сопоставив с прежними мнениями, очертить его возможно полнее.

Как далеко вперед шагнул он, освобождаясь мало-помалу от противоречий и предрассудков, еще так недавно стеснявших его мысль! В самом деле, примерно год тому назад, когда он, двадцатилетний юноша, уже считал себя «партизаном социалистов и коммунистов», он все-таки продолжал питать иллюзии, что, может быть, мыслима на путях общества к свободе и равенству диктатура или даже наследственная неограниченная монархия, ратующая за низший класс земледельцев и работников, защищающая их интересы.

Он был тогда еще так наивен, что представлял себе подобную монархию стоящей над классами и якобы созданной для защиты угнетенных.

Эта власть, казалось ему, должна сама отчетливо сознавать, что она лишь средство, а не цель, и что развитие общества, которому она будет всемерно содействовать, неизбежно приведет к ее же уничтожению. Так, грезилося ему, будет построен рай на земле.

Теперь, по прошествии года, самая мысль о подобной возможности представлялась ему вздорной и фантастической. Вспомнив все это, он раскрыл дневник и стал писать мелким сжатым почерком, прибегая к шифру, с помощью которого ему удавалось с необыкновенной быстротой заносить свои мысли на бумагу.

«. . .Теперь я решительно убежден в противном — монарх, и тем более абсолютный монарх, — только завершение аристократической иерархии, душою и телом принадлежащее к ней. Это все равно, что вершина конуса аристократии...

Итак, теперь я говорю: погибни, чем скорее, тем лучше: пусть народ не приготовленный вступит в свои права, во время борьбы он скорее приготовится...»

Сознавая, что с падением крепостнической монархии все классовые противоречия еще более будут обнажены, Чернышевский продолжал: «Пусть начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетаемые сознают, что они угнетаемы при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при котором они не будут угнетаемы... Вот мой образ мысли о России: неодолимое ожидание близкой революции и жажда ее, хоть я и знаю, что долго, может быть, весьма долго, из этого ничего не

выйдет хорошего, что, может быть, надолго только увеличатся угнетения и т. д. — что нужды? Человек, не ослепленный идеализацией, умеющий судить о будущем по прошлому и благословляющий известные эпохи прошедшего, несмотря на все зло, какое сначала принесли они, не может утратиться этого; он знает, что иного и нельзя ожидать от людей, что мирное, тихое развитие невозможно. Пусть будут со мною конвульсии, — я знаю, что без конвульсий нет никогда ни одного шага вперед в истории. Разве и кровь двигается в человеке не конвульсивно? Биение сердца разве не конвульсия? Разве человек идет не шагаясь? Нет, с каждым шагом он наклоняется, шатается, и путь его — цепь таких наклонов. Глупо думать, что человечество может идти прямо и ровно, когда это до сих пор никогда не бывало».

Охваченный желанием привести эту замечательную мысль к математической ясности и наглядности, он тут же порывисто начертил три горизонтальные линии: одну — подобную лезвию зубчатой пилы, под нею другую, совершенно прямую, и еще ниже — третью, изломанную и неровную, изображающую взлеты и падение, подъем и упадок.

«Хорошо, — говорил он себе, — если путь человека и человечества мы могли бы ундоблять первой из этих трех линий (прямым он не бывает никогда), а чаще его можно представить себе лишь как третью начерченную здесь линию...»

Как только достигли Саратова слухи и пересуды о деле Бугашевича-Петрашевского и его сподвижников, Николай Гаврилович стал получать из дому тревожные письма.

Сначала родители косвенными расспросами старались дознаться: не причастен ли кто-нибудь из товарищей их сына к этой истории? Не нарушен ли ход занятий в университете? Каков круг знакомств Николеньки? С кем он общается? У'кого бывает? С кем особенно близок? Чем заполнены его дни?

Словно чувствовало беспокойное сердце матери, что не все уж так ладно и гладко идет у сына, как ей хотелось бы и как изображает он в письмах домой. Но сын успокаивал ее: «О своих занятиях я не знаю, что Вам написать, милая маменька; больше всего это мелкие занятия по университету. Иногда нужно бывает несколько подготовиться к лекции, иногда поправить или переписать записанное на лекции. Если я не писал вам ничего о своих знакомствах, милая маменька, то это потому, что новых ни одного нет, а о старых писал я вам тогда, когда начинались они, когда я был в первом или во втором курсе. Чаше всех выдаюсь я с В. П. Лободовским и А. Ф. Раевым» (О знакомстве с петрашевцами — Ханыковым, Дебу, Толстовым, даже и о Введенском, — конечно, ни звука)

Фамилия студента Филиппова, мелькавшая в прежних письмах Николая Гавриловича к родителям, заставила их особенно насторожиться, как только известен им стал из столичных газет приговор по делу петрашевцев, в котором фигурировал между прочими студент Петербургского университета Филиппов.

Это оказался лишь однофамилец однокурсника Чернышевского. «Я виноват, — писал Чернышевский родителям, — что еще не отвечал Вам, милый папенька, на вопрос Ваш о Филиппове, студенте здешнего университета, замешанном в деле Петрашевского. Лично я его не знал; кто знал, говорит, что он много

занимался естественными науками и некоторые (например, геогнозию и минералогию) знал чрезвычайно хорошо (он шел по естественному факультету)».

Раз уж зашла речь о «заговоре», надо было сказать и о нем, сдержанно, правда, и поневоле весьма осторожно:

«Говорят тоже, не знаю только, интересно ли Вам будет знать это, что замешался он в это дело потому, что был в коротком знакомстве с другими обвиняемыми, что его выпустили бы, как совершенно ни в чем не виновного, если бы у него не был такой горячий характер; он, раздраженный тем, что без вины сидел несколько месяцев в крепости, слишком дерзко отвечал судьям, то-есть не отвечал, а укорял или слишком горячо упрекал их в неосмотрительности, и поэтому был сочтен очень опасным человеком...»

И, как бы спохватываясь, что он посвящен в такие подробности дела (где же, как не в кружке Введенского?), скромно добавляет: «Не знаю, правда ли это, или он в самом деле участвовал в чем-нибудь. Да никто почти не знает и того, было действительно что-нибудь, в чем бы можно было участвовать... Вообще здесь об этом деле очень мало говорили, то-есть, кроме тех, у кого были тут замешаны знакомые, никто и не говорил и не думал, потому что считали это все слишком пустым шумом. В провинциях, должно быть, думали, что тут есть что-нибудь серьезное, потому что приезжие обыкновенно спрашивали: «Ну что тут было у вас?» Иной просто отвечает: «А что такое? Я ничего не слыхал», — и в самом деле он или не слыхал, или уже успел позабыть. Вообще было это дело, не заслуживающее внимания. Кажется, жалели, что и подняли шум из-за него; но раз поднявши шум, разумеется, уже нельзя же было кончить ничем...»

И сыну саратовского купца Полякова, приехавшему тогда в Петербург и доставившему Николаю Гавриловичу посылку от родных, точно так же силился он представить «дело Ханыкова и компании», как не заслуживающее внимания. Но сам почувствовал, что версия такая показалась Полякову неубедительной («кажется, заслужил его недоверие»).

Это показное спокойствие совсем не вяжется с той короткой гневной записью в дневнике, помеченной 25 апреля 1849 года, когда Чернышевский узнал об аресте петрашевцев. Все возмущение произволом, накипевшее у него тогда на душе, вылилось в одной фразе о шефе жандармов Орлове и управляющем Третьим отделением Дуббельте, которых он назвал скотами, достойными виселицы.

